

ИЗВЕСТНО, что память детства—самая острая и самая прочная, и потому с возрастом, хотя и неизменно отдаляющим события тех детских лет, они, однако, становятся даже зримее, осязаемо отчетливее, как бы обновляются, подобно шедевр живописи, освобожденному от посторонних напластований. Более же поздним отметинам на жизненном пути человека, сколь бы ни были они яркими, захватывающими, не уготована столь поразительная, изумляющая сохранность.

Вот почему, читая роман Михаила Алексеева «Драчуны», память, будто магнитная лента, раскручивает события так, точно бы все это происходило с тобой, в твоём детстве, все это жило и хранилось в тебе и требовалось лишь слаботочный импульс, чтоб возжечь все радужным фейерверком красок, высветить былое.

А все началось с ссоры. Мальчишеской ссоры и первой драки закадычных друзей: Мишки, по-уличному Хохла, и Ваньки Жукова, или Жучка. И малая эта, обыденная и несущественная деталь (сколько подобного случается на каждом шагу в детстве!) впоследствии сыграла горькую роль не только в отношениях двух некогда дружных семей, но и, скажем без преувеличения, всего села Монастырское, сыграла роль спички, брошенной в сухой стог соломы, разделила его на два незримых лагеря.

И та, поначалу лишь перетянутая до предела, но всего лишь тонкая струна — ссоры, череда драк сельских детей, — казавшаяся вряд ли способной вынести непомерную нагрузку, каким является сюжетный стержень романа, под рукой мастера расчетливо, медленно калится, обретает сверхпрочность, вяжет морскими узлами не только личностно-бытовые, но и социальные драмы, среди которых наипервейшая — коллективизация.

Коллективизация в романе предстает как подлинно вселодское дело; ее центрирующие силы столь вихревы и притягательны, что, пожалуй, не сыщешь ни одного человека — от мала до велика, — кто бы оказался в стороне, взирал равнодушно на происходящее. Но как всякое крутое социально-революционное дело, коллективизация не обходится без разломов, схлесток не на жизнь, а на смерть, поскольку старое не сдается на милость новому. А новое прокладывает себе дорогу не без ошибок, перегибов, трагедий; жесткие меры и способности ему тоже нередко навязывает и диктует старое, да и чего греха таить, к большому делу неизбежно «пристают», прибываются, будто щепка к берегу в половодье, те, кто в админист-

ративном зуде готов пойти со щупами по дворам, как солдаты с винтовками наперевес. Потому со временем отец Мишки-Хохла на вопрос — почему в Малой Екатериновке голод малость полегче, — ответит: «...Может, люди подружнее, а может быть, там оказалось поменьше таких дураков, как Зубановы, или же таких негодяев и сукиных сынов, как Воронин, — не знаю, Михаил...»

Но в том и величии нового, вершившегося в интересах подавляющего большин-

жизнь, определялась всеобщая и всеохватная вовлеченность в решение впервые историей поставленных перед людьми социальных задач, где было место великой правде, непримиримой категоричности, отчаянию и жестокости.

Характерен в этом смысле ночной разговор, вызванный первым собранием о коллективизации, предстоящим «раскулачиванием», — разговор младшего брата Федота Ефремова со старшим, Егором: «И зачем только люди доискиваются этой правды? Все ее ищут и не знают, глупые, того, что она все равно до конца им не откроется. Ну, а ежели и от-

разум, кровоточит сердце. Неимоверно огромно эмоционально-психологическое воздействие горя, обрушившегося на людей. При этом все не ради хлесткого художественного эффекта, сюжетных выигрышей — ради той высокой истины, благородного желания выявить величие и мужественность русского человека рисует Михаил Алексеев столь прозрачно, точно и выверенно жестокое время. Есть и иная глубинная мысль у писателя: наряду с социальной за-калкой и шлифовкой перед

лись. Можя, рядышком придется лежать... Эх, драчуны, драчуны!» Как в воду он глядел: привезли сыновья его на тележке через три дня на погост, «разбросали лопатами бугорок, отодвинули чуток в сторонку высочшее, а потому и не тронутое еще тленом тело Григория Яковлевича, положив рядышком, плечом к плечу, тоже без гроба, своего отца».

В детском представлении мир всегда огромен, непостижим во всех его многогранных проявлениях и вместе с тем он хрупок, словно сморщенная ореха-лещины, и по такой причине чудится, что этому прекрасному миру всякий миг грозит опасность быть расколотым, и он уже трещал, лопался, и такое представление складывалось не только в детском воображении, но и у взрослых, знающих всему цену, — уносила смерть «охапками» дорогих, близких, непременно, в прогрессии вырастали братские могилы... Но уже вызревало, пока еще сокрыто, втуне, перед очередным летом другое начало, поворачивавшее стрелку барометра на светлые перемены. Со спазмом, пресекшим горло, новый председатель Маслово сообщил «жившим, как бы в мутном сне потерянным, не знающим, что делать односельчанам, что получено распоряжение из первого собранного урожая выдать колхозникам по килограмму хлеба на трудодень». «Хотелось показать им, что на селе есть люди, которые начинают действовать, что в них можно найти опору, что не надо отчаиваться, что Советская власть жива...»

А тем временем уже над страной, будто тень коршуна, возникло военное предгрозе. И когда в конце романа на стреле-obeliske, метине уже реально прогремевшей военной грозы, прочитаем длинный список мальчишек-драчунов, отдавших жизнь за покой и мир на выстрадавшей ими земле, мы вместе с писателем ощутим тот тугой, шершавый и горячий ком, он и нам заслонит дыхание, и нам накатит издалека взволнованный, захлебывающийся Ванькин голос: «Миш... Миша... Михаил! И зачем только люди дерутся?.. Давай с тобой никогда... ну, сроду не будем драться!»

«Какая же любопытная, захватывающая картина явилась бы нам из-под пера того, кому удалось бы проследить судьбу каждого из нас, как сложилась она от рубежа, помеченного тридцатым годом, до наших дней!» С этим несколько грустным и покорным призывом перед физической невозможностью, бессильем свершить эту истине благородную цель одному писателю, да и не одному, обращается к читателю Михаил Алексеев, закладывая в нашу душу мысль о том, каким же величайшим достоянием природы, ее особым, цело-неделимым миром является каждая личность, каждый человек, сильный и вместе хрупкий, и сколь же бережливым, деликатным, сопричастным душой и сердцем должно быть отношение к нему.

Николай ГОРБАЧЕВ,
лауреат Государственной премии РСФСР.

Детства щемящая явь

О новом романе Михаила Алексеева «Драчуны»

ства людей деревни, что такого рода правду оно устами партии, не скрывая, говорило уже тогда, и она, эта правда, в художественной форме, психологически достоверно возникает, живет на страницах романа. И вновь, и вновь поражаешься, постигая глубину, масштабность социальной домки, на которую с выстраданным напором и решимостью поднялся русский землепашец — поднялся от вечного бездолья к свету, к забрезжившей новой судьбе.

Бойкот... Слово это было распространенным в те тридцатые годы, — написанное на щите и вывешенное на доме, оно становилось своего рода тавром, метиной проклятости: чурались такого дома люди. И уходили, как бы растворялись в безвестие, Тимофей Ефремовы, Яковы Крутяковы, Авраамы Кузьмичи, — татами, другие — подпадая под «бойкот» случайно, по стечению обстоятельств, со временем, прекратив явную и тайную борьбу, волею народа, против которого они попервости и выступали, оказались равными и достойными в строю новой жизни, — немаловажное это обстоятельство подчеркнуто в романе с подлинной человечностью и исторической истинностью.

А те драчуны, мужавшие и набиравшие зрелости в ходе социальной борьбы, формировались, выковывались в горниле схваток, в лишениях и страданиях, обращались в подлинную силу нового общества, в современную категорию советских людей.

Ребячья баталии, ледовые битвы, но и одновременно «агитдела» школьных бригад, охрана ими первых тракторов и молодого хлеба — это элементы, малые кирпичики, из коих складывалась не по простому арифметическому действию в горячую и буйную пору тридцатых годов

кроется: на, мол, бери меня!.. Ну, взял... А дальше што? Искать больше нечего. А зачем тогда жить? Никакого интереса не будет. Нанличешь ее на свою голову...». И дальше, оказавшись не понятым братом, думает: «Ну, да ладно. Ищите с Тимошиной да Аврашиной всю правду, а мне и небольшого куска от нее хватит...».

Чудовищная жестокость вершится на подворье Якова Тверского: после заявления Гриньки Музыкина, явившегося во главе бригады «агитаторов», о том, что он, его дядя и крестный, один не записался в колхоз, Тверсков, по прозвищу Соловей, в ярости избил мальчишку до потери сознания. Но жестокость способна породить цепную реакцию: спалил Гринька ригу родного дяди. А после горели, занимались гумна и дома, брошенные хозяевами. «Горит, горит матушка Расел!» — философски заключал все тот же Федот Ефремов, хитро судивший о правде.

Поиски правды, ее вызревание у закоренелого одиночника Якова Тверского завершили только в августе сорок второго — у самой трудной для страны в ее военном лихолетье черты вступил Соловей в колхоз: «Берите меня за ради Христа к себе со всем моим дерьмом, потому как ничегошеньки другого у меня нету... Так что безоговорочно вступаю».

А между тем еще в пору разгара, в не улегшейся в свои берега, а значит, не набравшей прочности коллективизации встал грозный тридцать третий год, «одним махом, одною страшною охапкой унесший на тот свет полсела».

Картины голода, разгулявшегося люто, редившего без разбору, будто злой демон, села и деревни, не щадя ни старого, ни малого, с жестокостью правдивостью воскрешенные писателем спустя полвека, не могут оставить равнодушными даже тех, от кого бесконечно далека та черная страница были, не говоря уже о нашем поколении, хлебнувшем полной мерой того злосчастия, — от чудовищных картин холодеет

чугунным ликом беды объединялись, сплывались и, что важно, добрели люди. Именно такими неоспоримыми, нравственно высокими достоинствами обладал русский человек, которому вместе с другими народами братьями суждено было сделать землю общим достоянием. Труд на ней — коллективным, а после — за ударные пятилетки — поднимать, словно на стальных крыльях, индустриальную мощь отсталой страны, выстоять и победить нашествие фашистских гуннов, восстановить, возродить страну из пепелища и разрухи, выйти на нелегкую, но обозримую дорогу в будущее.

Впрочем, многое из этого героя романа предстало свершить позднее, а пока они действовали в том тридцать третьем... Именно в час разгула голода те драчуны, Ванька Жуков в первую очередь, оказались бескорыстно человеческими и гуманными: хотя собственная семья его голодала, ходил он на «промысел по чужим погребам и амбарам», носил Поляковым, оставшимся без кормильца, то свеклу, то несколько картофеля, а дружок Мишка, в свою очередь, таскал из своего погребка по ночам для Жуковых по одной тыкве — прибыль несказанная в критический тот момент. И поражающим художественным открытием предстает перед нами общечеловеческий механизм вновь обретенной дружбы, любви, как бы выставленной писателем для обозрения на добрых ладнях. Автор романа точно бы говорит: «Люди! Цените эти извечные сокровища жизни».

Потому в роковой срок скажет дядя Петруха, общий тятя семьи «хохлов», Григорию Жукову, отцу Ваньки: «Так-то вот, Григорий!.. А мы, дураки, ссорились — брани-